10 коп. Индекс 70668

ISSN 0132-2095 Б-ка «Огонек». 1989. № 36. 1—48.

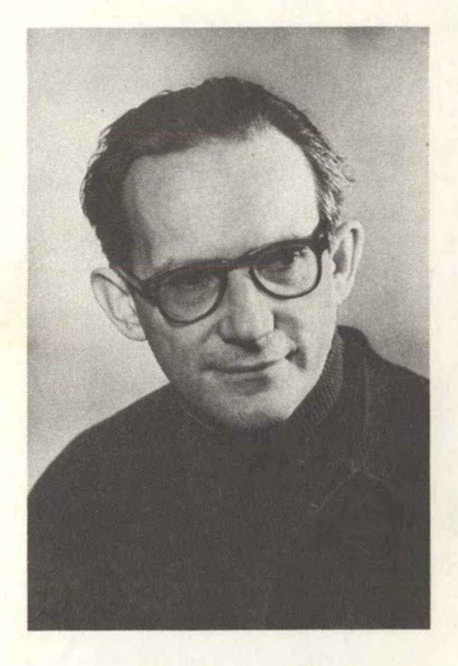
БИБЛИОТЕКА



ОГОНЁК

№ 36 1989

ISSN 0132-2095



Андрей ***ТУРКОВ***

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 36

Издается с января 1925 года

Андрей ТУРКОВ

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

СТАТЬИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Андрей ТУРКОВ

Андрей Михайлович Турков родился в 1924 году в Мытищах (Московская область). Живет в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в журналах «Огонек», «Молодая гвардия», «Юность».

Первая публикация — очерк в армейской газете «Боевой натиск» (1944). С 1948 года выступает как критик. Помимо многочисленных статей и рецензий, им написаны следующие книги: «Александр Твардовский» (1960; второе, дополненное изд. — 1970), «Поэзия созидания» (1962), «Салтыков-Щедрин» (1964, 1965, 1981; новое, дополн. изд. — «Ваш суровый друг» — 1988), «Николай Заболоцкий» (1966, 1981), «От десяти до девяноста. О творчестве А. Я. Бруштейн» (1966), «По дорогам и по страницам» (1968), «Александр Блок» (1969, 1981), «Левитан» (1974), «Открытое время» (1975), «Высокое небо. Четыре портрета» (1977), «На тысячу ладов. Заметки литературного «болельщика» (1977), «А. П. Чехов и его время» (1980, 1987), «Кустодиев» (1986), «Федор Абрамов» (1987).

Сборник статей «Вечный огонь» (1984) был отмечен премией Союза писателей СССР в числе лучших критических работ года.

Книги о Блоке и Чехове переводились за рубежом.

В «огоньковский» сборник вошли несколько критических выступлений последних лет.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ТВАРДОВСКОГО

...Он еще за редакторским столом. Никто не знает, что в его могучем организме гнездится болезнь.

Каждой своей строкой, каждым номером журнала, которому отдал в общей сложности больше 15 лет жизни, он по-прежнему ведет «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле» — бой с живучей неправдой, трусостью, равнодушием, с набирающим силу застоем.

А на войне, известно, как на войне. Каждый воюет, как умеет и как считает нужным и возможным.

Один пишет «За далью — даль» и «Теркин на том свете».

Другой — «тот свет» — дает сдачи: почти десять лет мешает новому «Теркину» пробиться к читателю, ставит и другие палки в колеса, зато быстренько публикует «Открытое письмо» Твардовскому от некоего рабочего:

«Создается впечатление, что Вы, Александр Трифонович, не видите, какие люди вокруг Вас выросли. Очерков о рабочем классе нет в «Новом мире»... почти вся проза про деревню, да и очерки тоже. Только деревня в Вашем журнале выглядит чаще всего мрачной и неуютной» («Социалистическая индустрия», 31 июля 1969 г.).

(Ах, знакомый почерк — уже и Александру Яшину подобное писали обиженные его «Вологодской свадьбой», и пинежцы «дружно» взывали к Федору Абрамову после его очерка «Вокруг да около»: «Куда зовешь нас, земляк?»!)

Такой натиск, что вроде бы впору только обороняться.

Но не таков автор «Василия Теркина» и «Дома у дороги». В этих, казалось бы, заведомо неблагоприятных условиях он по-прежнему наступает — стремится, выражаясь военным языком, развить успех, достигнутый еще десять лет назад,— в нашумевшей главе «Так это было» из книги «За далью — даль».

В первом номере «Нового мира» за 1969 год появляется «На сеновале» — лирическое воспоминание о том, как «жизнь тому назад» вместе с деревенским другом «собирались в путь далекий из первой юности своей»:

Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду,
А если —
То и жизнь отдать.
Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?

То были строки по своей личной, исповедальной интонации, по лаконической силе выражения напоминавшие знаменитое вступление к «Василию Теркину»:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Но так уж случилось, что если в «Книге про бойца» за такой «увертюрой» немедленно последовали первые главы этой поистине богатырской симфонии, то «На сеновале» оказалось прощанием поэта с читателями, оборвавшимся запевом начатой было песни и даже, можно сказать, горькой иллюстрацией сказанного в этих же самых строках.

Напечатанное было лишь первой главой новой поэмы Твардовского «По праву памяти», которая должна была продолжиться в следующем номере журнала.

Однако ее реальный путь к читателю оказался «сложней». С завидной оперативностью, опережая появление поэмы, возникли критические голоса, грубо извращавшие ее содержание и пафос (каждый воюет, как умеет!), чтó в атмосфере того времени катастрофически сказалось на судьбе уже подготовленного к печати произведения.

«Я наслышан о том, что Вы на днях публично дали отпор некоему Овчаренке, который пытался опорочить мое имя,— писал Твардовский одному из литераторов в феврале 1970 года. — ...Можете быть уверены... что не ошиблись, посчитав невозможным, чтобы из-под моего пера явилось нечто недостойное.

Буду рад пригласить Вас на чтение и обсуждение поэмы, которое, надеюсь, состоится в недалеком будущем».

Но ни обсуждения, ни публикации при жизни автора так и не состоялось.

Он оказался в положении своего любимого героя, который, как рассказано в главе «Теркин ранен», вырвался вперед в атаке и угодил под огонь собственной артиллерии, но, долгие часы продержавшись в захваченном доте, дождался-таки новой волны наступавших:

— Хлопцы, занята квартира,—
Слышат вдруг из глубины.
Не обман, не вражьи шутки,
Голос вправдашний, родной:
— Пособите. Вот уж сутки
Точка данная за мной...

И хотя с той поры минули долгие годы, поэма «По праву памяти» звучит ныне, при своей публикации[1], с не меньшей страстью, жаром, надеждой, с какой когда-то для самого Твардовского — голос бойца, павшего в тяжком, длительном бою:

Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?

И где бы ни гремел наш нынешний бой — все еще под «Ржевом» или далеко «на запад» от него — сказанное в поэме не может быть для нас безразлично, больше того — врывается в самую гущу все еще кипящих споров, как слово их полноправного участника.

Одна из первых мыслей, приходящих при чтении поэмы,— о глубочайшей органической связи ее со всем предшествующим творчеством Твардовского, со всем его пафосом.

Уже вступительные строки — о желании обратиться «ко всем, с кем было по дороге, живым и павшим» — естественны для поэта, сказавшего в стихотворении «В тот день, когда окончилась война»:

Я ваш, друзья,— и я у вас в долгу,
Как у живых — я так же вам обязан,
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова без прежней веры в них,

[1] «Знамя», 1987, № 2; «Новый мир», 1987, № 3.

То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.

И вот снова — то же стремление, «чтоб слову был двойной контроль»:

Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
— Позволь!
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой...

В том давнем послевоенном стихотворении впервые возник потрясающий образ миллионов погибших собратьев: «...И, кроясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный товарищами берег».

И одновременно — утверждение незыблемой связи с ними:

Что ж, мы — трава? Что ж, и они — трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.

В последней поэме Твардовский вроде бы «повторяется»:

...люди не трава:
Не обратить их всех навалом
В одних не помнящих родства.

Но возвращение к тому же самому образу происходит уже на ином «витке» духовного и гражданского развития поэта.

Великое дело — стать поистине голосом воюющего народа, как то случилось с автором «Теркина»! Казалось бы, одной такой строки в «послужном списке» поэту хватит с лихвой.

Ан нет...

«Жестокая память» — эти слова из одноименного стихотворения Твардовского, долгое время служившие критикам удобным «диагнозом» для объяснения его «болезненной», «чрезмерной» приверженности к «отходящей в прошлое» теме войны, ее тяжелейших последствий и тревожных уроков, все больше теряли свою локальную приуроченность. Даже строки, где они впервые прозвучали, ныне кажутся наделенными более общим смыслом:

Куда ни взгляну, ни пойду я —
Жестокая память жива.

Что касается подобной трактовки войны, Твардовский мог бы с полным правом сказать: «Я этой песне — запевала».

Распространение же такой памяти и на другие области жизни и истории — процесс еще более сложный и трудный, стимулировавшийся известными общественными сдвигами, например, решениями XX съезда КПСС, процесс, в котором приняли активное участие многие деятели культуры и искусства.

Однако и тут личный вклад Твардовского оказался чрезвычайно весомым — от «Теркина на том свете» и «За далью — даль» до поэмы, о которой идет речь.

И примечательно, что, как и в случае с «Василием Теркиным», о народном «соавторстве» в котором писал сам поэт, вклад этот был не единоличным, а порожденным той же «связью обоюдной», о которой так точно сказано в последней главе «Книги про бойца»:

Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.

Однокашник Твардовского студенческой поры вспоминал, как поэт рассказал ему, что отец, Трифон Гордеевич, наведавшийся к сыну, уже прославившемуся «Страной Муравией», постучал пальцем по этой книжке и сказал:

— Не задавайся, Сашка, тут и моего много есть!

Кажущийся на первый взгляд всего лишь забавным проявлением своеобразного самолюбивого отцовского характера, эпизод этот, однако, представляется мне почти символическим выражением «корней» творчества Твардовского, глубоко уходящих в реальную жизнь, в судьбы близких — и вовсе незнакомых людей, порой как-то пересекавшихся с судьбой самого поэта, порой же «всего лишь» создававших общую неповторимую атмосферу эпохи.

Трифон Гордеевич справедливо ощутил «свое» даже в характере Никиты Моргунка с его сравнительно благополучной участью и вряд ли знал, что в черновых набросках поэмы остался драматический фрагмент, обнаруживающий всю силу сопереживания, на которую был способен молодой поэт:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Тот сам сбежал, того свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет[1].

---

[1] Александр Твардовский. На пути к «Стране Муравии» (Рабочие тетради поэта). «Литературное наследство», т. 93, М., 1983, стр. 336.

Опубликованные ныне в «Новом мире» рядом с поэмой «Наброски неудавшейся повести (1932—1983)», озаглавленные так самим автором, «перебелялись» им уже во время работы над «Страной Муравией» и во многом служили для нее источником ряда образов и деталей. Мелькает там, правда, «на третьих ролях», Моргунок, еще Филипп, а не Никита, дается картинка первой встречи с трактором толпы сельчан, которая то «растягивалась беспорядочной колонной, то сворачивалась в хоровод» (в поэме «трактор водит за собой толпу как хоровод»), описана и незадача, происшедшая с этим «железным гостем» (последний эпизод в «Стране Муравии» разрастется в целую главку).

То, что при самом появлении поэмы и долгие годы спустя критика начисто игнорировала пробивавшиеся там драматические ноты, было, конечно, неправильно. Но при сравнении с «неудавшейся повестью» на ту же тему «Страна Муравия» все же кажется акварелью, использующей мотивы прозаических «этюдов», писанных густыми масляными красками.

В публикуемых набросках отчетливо запечатлелись и явное форсирование производимых перемен, и вызываемый этим «гомон сдержанного недовольства» на колхозном собрании, и драматические плоды нахрапистой спешки. «Скотина ревет. Ревет!.. И я прямо скажу; когда врозь жили, как ни жили — крыши весной не раскрывали. Кроме только самых тяжелых годов»,— говорит, возясь с самодельной соломорезкой, Ефим Саушкин, который прежде, по собственным его словам, «жил остро, так остро, что другой раз — давнее дело — бабу в кусочки посылал» (то есть за милостыней, подаваемой хлебом, которая ярко описана еще в известной книге А. Н. Энгельгардта «Письма из деревни»).

И ведь все это, говоря «теркинским» слогом, присказка покуда, сказка будет впереди. Еще не переходит «на басы» председатель сельсовета Быков в своем разговоре с «главой» колхоза Тихоновым об очередной дополнительной сдаче хлеба, а лишь «с приятельским невниманием» твердит на все его резоны: «Ты брось, брось. А ты лучше нажми на них. У них есть. Брось...» Еще только смутно замаячила в повествовании и фигура «озорника» и пакостника Лешки Петроченкова, который самодовольно хвалится сделанной им «карьерой» и радуется, что не стал крестьянствовать. «Когда б вы хозяйством занимались серьезно, вы тогда понимали б, как тяжело человеку,— угрюмо вставляет его собеседник.— А так вы — что ж?.. От крестьянского труда вы отвыкли. А в колхозе вам — писчая должность. Вам колхоз — подай боже!»

Не подобные ли петроченковы и быковы вскорости начнут выносить, как сказано в поэме «По праву памяти», «слепой и дикий, для круглой цифры приговор», по которому нередко и тот, кто «горбел годами над землей, кропил своим бесплатным потом» ее, очутится «в скопе конского вагона, что вез куда-то за Урал», а сын этого «кулака» станет отныне именоваться «отродьем, не сыном даже, а сынком...»?!

А как с той кличкой жить парнишке,
Как отбывать безвестный срок,—
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк...

Опаляющим автобиографизмом дышит вся эта, вторая глава поэмы — «Сын за отца не отвечает».

Были времена, когда сам поэт глядел на «горбеющего над землей» родителя со всем беспощадным юношеским максимализмом, удесятерявшимся общей атмосферой тех лет. В списке тогдашних стихов Твардовского числятся и такие, как «Отцу-богатею», да и в одной из первых его поэм — «Вступление» — кулаку дана профессия Трифона Гордеевича — кузнец.

Лет двадцать тому назад я неосторожно спросил Твардовского об этом, и он скупо ответил, что сам недавно думал о том же ночью... Характерно, что тогда же в очерке «Заметки с Ангары» он с особенной пристальностью описывал своего нового тамошнего знакомца, былого жителя Смоленщины, исколесившего всю страну. «Шея тоньшает...» — мимоходом обронил Иван Евдокимович, упомянув о своем возрасте, и поэт «невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки...»

«Батя, батя...» — с горестным укором заносил юный Твардовский в дневник после рассказа о том, как Трифон Гордеевич с понятным, но стеснявшим сына тщеславием демонстрировал местному дьякону газету со стихами «поэта-селькора».

И кажется, что это же «Батя, батя...» — но уже совсем с иным чувством слышится и в процитированном отрывке из очерка, и в последней поэме.

Слова, которыми озаглавлена вторая ее глава, в пору их произнесения выглядели для многих нежданным счастьем, облегчением судьбы, своеобразной амнистией (хотя заметим, что не раз еще «кулацкое» происхождение ставилось «в строку» поэту — вплоть до самых последних лет его жизни, до толков и кривотолков о новой его поэме).

Горький, саркастический отголосок этого исступленного благодарного ликования звучит в стихах Твардовского:

Конец твоим лихим невзгодам,
Держись бодрей, не прячь лица.
Благодари отца народов,
Что он простил тебе отца
Родного...
Сын — за отца? Не отвечает!
Аминь!

Однако ныне поэт беспощадно обнажает иной, тягостный смысл памятного сталинского изречения. Оно давало возможность, во всяком случае — слабым душам, ослабить, презреть или вовсе отринуть звенья и просто ближайших родственных связей (и вытекающие отсюда нравственные обязанности), и более сложной и не всегда выступающей наружу историко-культурной преемственности, той самой, которую Пушкин афористически определял как «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» и утрата которой способна породить нечто вроде Смердякова или презрительно отворачивающегося от матери и родины вообще Яши в чеховском «Вишневом саде».

В горячем, захлебывающемся, порой сбивчивом монологе автора поэмы зорко ухвачен этот процесс размывания связей между людьми близкими, между словом и делом, между провозглашенным и реальной «практикой», когда, в частности, вскоре после вышеупомянутой декларации «званье сын врага народа... вошло в права».

Ухвачены смешение понятий, умственная и моральная смута, продиктовавшая некогда даже такому поэту, как Эдуард Багрицкий, известные слова:

Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей»,— убей.
(«ТВС»)

А другому, Сергею Малахову,— строки, полные то ли фанатизма, то ли томительного предчувствия собственной будущей судьбы:

Если враг тебе я — бей навылет
Моего смертельного врага!

Твардовский яростно и горько «переводит» эту натужную патетику на общепонятный, «будничный» язык:

Ясна задача, дело свято,—
С тем — к высшей цели — прямиком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.
И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.
...Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.

Конец же главы дает новый поворот теме, подвергая исследуемую формулу неожиданному и глубоко справедливому переосмыслению:

...за всеобщего отца
Мы оказались все в ответе,
И длится суд десятилетний,
И не видать еще конца.

Сказано скупо и мужественно, опять-таки в духе человека, еще в книге «За далью — даль» «вызывавшего огонь» и на себя: «Я жил, я был — за все на свете я отвечаю головой».

Однако и на таком суде ведут себя по-разному, — и об этом последняя глава поэмы «О памяти»:

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую боль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!

Можно представить себе тех, кто опять вознамерится на «новом» материале завести старую песню об одолевавшей, дескать, Твардовского «жестокой памяти». Что ж, ведь и Достоевского когда-то сожалеюще и укоризненно именовали «жестоким талантом»!

Но разве это одного его, Твардовского, память, одного его негодование на нашу «забывчивость»?! «Это живая, необходимая мысль моей жизни (и куда как не только моей!)», — занес поэт в дневник, почувствовав «приближение поэтической темы» своего последнего произведения.

Вот всего два примера, подтверждающих это.

Один — из послевоенной почты самого Александра Трифоновича:

Поэт Твардовский, извините,
Не забывайте и задворки,
Хоть мимолетно посмотрите,
Где умирает Вася Теркин,
Который воевал, учился,
Заводы строил, сеял рожь.
В тюрьме, бедняга, истомился,
Погиб в которой ни за грош
Пусть грубо, только не смущайтесь,
Я вам пишу не манифест,
Есть совесть — Вы не улыбнетесь,
Прочтя поэму «Серый крест».
Прошу мне верить, я Вам верю.
Прощайте! Больше нету слов.
Я теркиных нутром измерил,
Я теркин, хоть пишусь
Попов.

Не знаю, какова была упомянутая здесь поэма. Вполне возможно, не лучше большинства слабых стихов Натальи Ломакиной, среди которых есть, однако, и такие:

Вся Россия колючим забором
Ощетинилась в тридцать седьмом...
И по дальним, незримым погостам
Под сугробами мертвых полей
Без суда, по подложным доносам
Уложила своих сыновей...
Годы шли. Где те страшные дали?
Кто их может теперь отыскать?
Ту жестокость «ошибкой» назвали
И о ней приказали молчать.
Мы молчим...

«...Неужели вы не слышите голосов...» — говорил один из героев «Вишневого сада». И слова эти в подобном случае не может не повторить подлинный народный поэт.

«Что ж, мы — трава? Что ж, и они — трава?»

Не только напрасно, но и опасно думать, будто «ряской времени затянет любую быль, любую боль». (Какое точное слово — «ряской», — напоминающее о болоте, если не о трясине, таящейся под обманчиво зеленеющим покровом!)

«Опыт, сын ошибок трудных», если вспомнить пушкинские слова, — но отнюдь не беспамятства, не вымученных стараний вычеркнуть из истории то, что было, или, по гневному определению поэта, подчеркивающему алогичность, бессмыслицу этих усилий: «быль — забыть!».

Сделав вид, словно и не было у нас позади крутых обрывов и волчьих ям, рискуешь угодить в новые. «Таит беспамятность беду», как сказано в вариантах поэмы. Ибо память не досадно педантичный архивариус, а бесстрашный сапер с миноискателем. Не обременительный обоз, а сторожевое охранение.

Прав поэт:

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...

Один из опубликованных в «Новом мире» набросков, из которых постепенно выросла поэма «По праву памяти», начинается словами:

...Недосказал. Могу ль оставить
В неполноте такую речь,
Где что убавить, что прибавить —
Так долей правды пренебречь.

Теперь же, когда поэма стала нашим общим читательским достоянием, достойно увенчав собой весь многотрудный и славный путь автора, на ум приходят те пушкинские слова, которыми начиналась заключительная глава «Василия Теркина»:

Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна...

Досказал... Выиграл свой последний бой и вместе со своим бессмертным героем навсегда остался среди новых бойцов.

Помните в «Книге про бойца»:

«Свой?» — бойцы между собой,—
«Свой!» — переглянулись.

И там же:

Разносись, молва, по свету:
Объявился старый друг...
— Ну-ка, к свету...
— Ну-ка, вслух...

1987

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

— Ага, Сашке разогревать!
— Чур, не мне!
— Почему?
— Я позавчера разогревал!
— Петух, твоя очередь...

Топчутся на берегу, подталкивают, подзадоривают друг друга броситься в холодную утреннюю реку мальчишки в последнем романе Юрия Трифонова «Время и место», а потом шумливой стайкой все оказываются в воде.

И вдруг вспоминается мне Литературный институт первых послевоенных лет, кипящие коридоры, споры на семинарах, робость и азарт, первые дебюты и первые критические залпы.

Порой память услужливо подсовывает прямо-таки символические картинки: сидит, например, на подоконнике маленький, с задорно вздернутым носом прозаик с младенцем на руках, и в толстом журнале у него как раз только что появился первенец — роман! «Разогрел», стало быть, воду, а ну-ка, теперь вы следом!

Тридцать с лишком лет минет, и мы увидимся в скромной компании, собравшейся по случаю выхода двухтомника Трифонова. Что их сдружило? Не то ли, что после первых, достаточно шумных успехов оба, пусть каждый по-своему, пережили труднейшую полосу внутренней ломки, перенастройки своих писательских «инструментов» и оба вышли из этого испытания с честью?

Помните случай, происшедший в детстве с героем «Долгого прощания»: «...трое пацанов стали молча крутить руки, отнимать пакет, он боролся отчаянно, раскидал, вырвался...»

Ну, а если не отнимают — обнимают, зацеловывают взасос?! Тут ведь можно в самой величавой позе ко дну пойти, и не помыслив о том, чтобы вырваться.

В этом смысле литературное «детство» Трифонова оказалось довольно коварным: «Внезапно (после появления романа «Студенты», отмеченного Государственной премией. — **А. Т.**) я стал известным писателем, — вспоминал он потом и едко добавлял: — Теперь сомневаюсь: писателем ли? Но тогда, конечно, не сомневался ни минуты».

Не сразу пришло к Трифонову «второе дыхание». Да и не само, конечно, пришло. Он вырабатывал, добивался его с присущим ему скрытным упорством.

Казалось, направления, которые стали обозначаться в его прозе с шестидесятых годов, чуть ли не исключали друг друга.

Ну, «Отблеск костра» — это понятно: долгожданное воскрешение имени отца, героя гражданской войны, повлекло за собой возможность рассказать и о нем, и о его брате, и об их сподвижниках и современниках, чьи судьбы представляли, говоря словами писателя, «громадный, живой, трагический и в то же время исполненный силы и веры жизненный материал...»

Но «Обмен»?! Сюжет из разряда житейских «мелочей»? Как сопрягается он и с «Отблеском костра», и с появившимся в начале семидесятых годов романом о первомартовцах, народовольцах («Нетерпение»), «низменный» быт со звенящей героикой?

Уж не мечется ли писатель от одного к другому, не зная, что́ предпочесть, что́ ему лучше удается?

Особенные сомнения вызывало у некоторой части критики «погружение» Трифонова в житейскую прозу, «фламандской школы пестрый сор» (так и называлась одна из наиболее разбитных статеек, автор которой, видимо, напрочь забыл, с каким напускным ужасом и веселым лукавством «громил» за этот «грех» Пушкин... самого себя, позднего, «онегинского»!).

Уже после смерти писателя появился в печати его рассказ «Опрокинутый дом», в котором некий заокеанский знакомый рассуждает о трифоновских героях: «Понимаете, Юрий, нам, американцам, такие люди не нравятся. Мы любим людей успеха. А вы, русские, всегда пишете про

неудачников. Это неинтересно для нас. Мы любим оптимистическую, жизнеутверждающую литературу». Занятное совпадение...

А Трифонов, упрямец, все «погружался» да «погружался»: «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь»... «Разогревая воду», все глубже входил в реку, казавшуюся с уютных критических бережков затхлой заводью, чертыхался, спотыкаясь о коряги, брезгливо вышвыривал ржавые консервные банки — и вместе с тем ощущал бодрящий холодок донных родничков, всем телом чувствовал мерное течение жизни — ежедневно, простой, неприкрашенной, но упрямо стремящейся вперед, к океану Истории, неотделимой от него.

«На каждом человеке лежит отблеск истории» — эти слова, сказанные в книге об отце, в сущности, можно отнести к любому персонажу в самых «бытовых» трифоновских повестях и рассказах.

«Господи, как все это жестоко переплелось! — размышляет один из героев о восьмидесятых годах прошлого столетия. — Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу... Нет, так не годится! Правда о времени — это слитность, все вместе...»

И это, конечно же, применимо не только к прошлому.

Будем справедливы: отнюдь не вся критика в пору трифоновских поисков вела себя так, чтобы ей можно было ехидно переадресовать давние чеховские упреки: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю... Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом».

Среди первых же критических суждений о новых произведениях писателя были и такие, которые подбадривали и утверждали на избранном пути. С благодарностью вспоминал, например, Трифонов отзыв покойного И. Крамова об «Отблеске костра». А вот как точно охарактеризовал Владимир Гусев в газетной рецензии рассказ «Путешествие» — о внезапно обнаруженных не где-нибудь за тридевять земель, а вокруг, поблизости, рядом с собой (и в себе!) целых неисследованных материках: «Это манифест. Это дух времени. В глубину человека. В подробности, в тонкости душевных «потемок» и света. По вертикали, а не по горизонтали».

Слово запомнилось! В одном из посмертно опубликованных рассказов Трифонов так передавал один из главных тезисов своего выступления на литературной дискуссии: «...меня интересуют не горизонты прозы, а ее вертикали». И недавняя («Новый мир», 1985, № 7) статья Игоря Дедкова о творчестве писателя также называется «Вертикали Юрия Трифонова».

Вертикаль... Нечто бесстрашно стремящееся не только ввысь, но и вглубь... Писатель Антипов во «Времени и месте» следующим образом объясняет неудачу своей книги: «Я не могу дочерпывать. А это необходимо. Нужно дочерпывать последнее, доходить до дна, я понял это к концу, когда было поздно».

Антипов не ровня своему создателю (хотя «линии» их судеб не раз пересекаются). Тот эту истину обрел раньше, а с ней — второе дыхание.

Поглядеть было на него со стороны: топчется и топчется на каком-то пятачке, возвращается да возвращается к сходным героям, ситуациям, обстановке (поселок «Красный партизан» в «Обмене», дачный кооператив «Буревестник» в «Старике», Соколиный бор во «Времени и месте»).

Однако на самом-то деле каждый раз уходит все глубже, как будто колодец роет, до источника докапывается!

Еще в «Отблеске костра» внимание писателя привлекли такие народные вожаки, как Б. М. Думенко и Ф. К. Миронов, в оценке которых он с отцом «разошелся» и в чьей судьбе, быть может, в особенной мере ощутил «громадный, живой, трагический материал». И вот это становится центром романа «Старик», а Павел Летунов, запоздалый «летописец», мигулинский «биограф», как будто вырос из важного, но все же еще только пунктирно очерченного в «Обмене» персонажа — деда Дмитриева, этого доживающего век «монстра».

«Пятачок» оказался плацдармом для мощного прорыва в даль давних дней, в смысл якобы отшумевших событий.

Почему же «якобы»? Да потому, что горячие, опрометчивые, безоглядные поступки и призывы Мигулина в первые революционные годы часто оказываются удивительно сродни тому, что отстоялось в опыте народа и государства за долгие десятилетия, твердо доказало свою важность и насущность в самых разных ситуациях.

«Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни... а за строительство гласное, за строительство, в котором народ принимал бы живое участие», — страстно пишет Мигулин в своих листовках и призывает вести крестьянство «к лучшей и светлой жизни личным примером, показом, а не громкими, трескучими фразами доморощенных коммунистов, у которых на губах еще не обсохло молоко и большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, хотя и с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства...»

Речь резкая, грубоватая, но явственно перекликающаяся с многочисленными ленинскими высказываниями тех же и более поздних лет!

И сколько раз при чтении романа хочется (подобно верной спутнице Мигулина Асе в зале суда над героем) крикнуть ему через годы и годы: «Я с тобой!»

Драма Мигулина, тесно связанная с возобладавшей одно время на Дону ошибочной политикой «расказачивания», словно бы бросает новый, дополнительный свет и на историю Григория Мелехова, этого, наряду с Аксиньей, самого дорогого для Трифонова героя революционных лет.

«Записками соседа» назвал писатель свои воспоминания о Твардовском, редкостные по беспощадной правдивости взгляда на себя в ту труднейшую пору, когда «колотился, ища какого-то поворота, какого-то но-

вого ключа в работе, потому что ...старое (свое, писательское.— **А. Т.**)... опостылело».

Речь вроде бы о соседстве дачном или даже «во времени», однако мне уже случалось напоминать в этой связи, что на фронте «соседом» часто называли воинскую часть, действовавшую рядом.

Могло ли пройти даром *такое* соседство?

В Литературном институте у Трифонова были разные учителя. Одни — Паустовский, блистательный языковед А. А. Реформатский — остались близки ему на всю жизнь. За монументальностью и значительностью других со временем проступила человеческая и литературная слабина, заметное равнодушие к тому, чем горели и жили их ученики (да что ученики! — страна, народ...). По-прежнему щегольски отделывалась фраза, «закручивалась» композиция, слышались эффектные поучения, но... Образ некогда любимого писателя и руководителя институтского семинара Киянова, конечно, не чья-нибудь фотография, но создавался не на пустом месте. В нем горечь разочарования, боль за пропавший талант, наконец, «добрым молодцам урок» (а себе — в первую очередь!).

Твардовского Трифонов, кажется, никогда не называл учителем. Но уже прослыв, как мы помним, известным писателем, «едва завидев Твардовского... краснел и покрывался потом, как мальчишка, встретивший на улице своего любимого спортсмена».

Для Трифонова, любившего спорт и много о нем писавшего, это отнюдь не «снижающее» уподобление. И юмор его едва ли не маскировочный: Твардовского с его суровой нелюбовью ко всяким громким изъявлениям чувств многие, по выражению Константина Воробьева, любили «втихомолку».

Любили — и старались следовать за ним: Александр Трифонович тоже ведь «разогревал воду» — и как поэт, и как редактор.

«... Меня интересует память»,— говорится в одном из последних трифоновских рассказов. Это вообще один из главных мотивов его творчества, его поисков «связующей нити». И роман «Время и место» снова начинается звеняще-напряженным вопросом, ответ на который для автора предопределен: «Надо ли вспоминать... Надо ли — о людях, испарившихся, как облака?»

И тут уместно напомнить о всегдашней «жестокой памяти», которую неизменно отстаивал автор «Василия Теркина» и «Дома у дороги» наравне с «правдой сущей, правдой, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька».

Перечитываешь эти слова: «...о людях, испарившихся, как облака». А в памяти всплывает: «И во всем этом мире, до конца его дней, ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей...» (Это стихотворение Трифонов еще до знакомства с поэтом любил читать вслух).

«Школа» Твардовского была суровой школой. Тут не следовало ждать наград и поощрений ни извне, ни от самого «учителя». В «Записках соседа» рассказано о некоторых жестоких уроках, полученных от

Твардовского, на что он был мастер. Быть может, как и в некоторых других случаях, он не всегда бывал прав в своем максимализме, но нельзя было не почувствовать, что эти претензии исходят от человека, привыкшего «сурово спрашивать с себя» («С других не так сурово»,— сказано далее в этом стихотворении).

И была определенная логика жизни, развития таланта и всего литературного процесса в том, что когда-то дебютировавший в журнале Твардовского «Студентами» Трифонов «вернулся» туда уже со своими зрелыми рассказами и «московскими повестями», ставшими его вторым рождением как писателя, уже поистине заслуженно известного. При всей тематической и стилистической разнице с произведениями Федора Абрамова, Сергея Залыгина, Бориса Можаева, Василия Шукшина, печатавшимися рядом, на тех же страницах, написанное Юрием Трифоновым составляло существенную, органическую часть этой прозы с ее бесстрашием реализма, напряженными раздумьями обо всем, пережитом страной и народом, настойчивым коллективным исследованием огромного и драматического исторического опыта.

Трифонову посчастливилось полной мерой ощутить читательские интерес и любовь к своим книгам, «заразившие» даже нас, критиков («Так обо мне еще не писали»,— сказал он после одной статьи).

Бесконечно жаль всего, еще им не написанного, только созревавшего, да и просто «отложенных» по нашему суетливому обыкновению встреч («Созвонимся!»), несостоявшихся разговоров, всего, что не успел досказать ему сам. Теперь не дозваться...

Но беря в руки его книгу, как будто вновь ощущаешь его крепкое пожатие.

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.

1985

ДАВНИЕ ГРОЗЫ

Тридцать с лишним лет назад, в 1965 году, Василий Белов начал писать очерк «Раздумья на родине» — о вологодской деревеньке Тимонихе с ее «реденькими домами», с чистой, «как младенческая слеза», водой речных омутов, с внезапно возникающими тут «шальными» грозами, с оплывшими холмиками кладбища и «высокой, в пояс» травой на месте былых строений.

«Собственно, деревни-то нету,— размышлял автор,— семь жилых домов — не деревня. Какие грозы спалили смоленые срубы древних домов, гумен, бань, сеновалов, амбаров, мельниц?.. сон не идет ко мне, гляжу в тесаный потолок, на котором великое множество сучков. Народное поверье гласит, что нельзя разговаривать в той избе, где много сучков: они молчаливы, зато все глядят. Надо добавить еще, что сучки ни гнили не поддаются, ни времени».

Многое припоминается при таком созерцании, главное — сами судьбы обитателей этой и других тимонихинских изб, память о которых в отличие от сучков, увы, не вечна и требует немалых усилий для своего закрепления.

И читая беловские «Кануны», эту, как сказано в подзаголовке книги, «хронику конца 20-х годов», нет-нет и заметишь и в событиях, происходящих в тамошней Шабанихе, и в характерах ее жителей отблеск, отголоски былых тимонихинских забот и страстей,— словно бы ожили и тихо переговариваются друг с другом — и с нами — «сучки», повествуя обо всем выпавшем на их долю.

Разглядывая — по большей части ныне «безработный» — деревенский инвентарь, все эти косы, серпы, кадушки, кросна, прялки, ручные жернова, автор очерка ощущал окутывающую их «горькую дымку поэзии сельского труда и запредельного крестьянского быта» — запредельного, ибо уже во многом канувшего в прошлое.

Создатель своеобразного поэтического «путеводителя» по этой, все больше погружающейся в волны времени «деревенской Атлантиде» (как давно и довольно беспечально выразился один поэт) — книги «Лад», Василий Белов не был бы правдивым художником, если бы принялся божиться, будто нам пришлось расстаться с сущей идиллической Аркадией. Недаром при самом «входе» в новую книгу встречает читателя кривой полунищий мужик по прозвищу Носопырь, который не просто внешне «слишком несуразен лицом и фигурой», но и «внутри»-то, как оказывается в дальнейшем, словно бы выгорел за свою нескладную жизнь и при случае может продать и предать тех, кто жалел и поддерживал его. Далек от идеальности и местный пастырь — отец Николай, до чрезвычайности приверженный многим так называемым слабостям, но, впрочем, могущий в «оправдание» свое сослаться на своего давнего и красочного предка — дьякона Ахиллу из лесковских «Соборян». А когда развернутся самые драматические события книги, никак не откажешь в правоте старику Никите Рогову, когда при виде творящейся несправедливости он яростно восклицает по адресу Игнахи Сопронова (в раннем, журнальном варианте — Софронова): «От своего же вора, от своего же проходимца гибель приходит!»

Однако это «все впереди», если воспользоваться названием другой книги того же автора, на которую, к сожалению, в последнее время явно переключилось внимание если не читателей, то заметной части критики.

И поначалу некоторые эпизоды «Канунов» живо и занятно перекликаются со страницами «Лада» (описание деревенского праздника, посиделок, свадьбы).

«Гармонь пела приятно и еще с дальним оттенком печали» — этими словами можно охарактеризовать тональность первых глав книги, неспешно разворачивающих перед нами панораму шибанихинского житья-бытья. И лишь вроде бы чисто эпически звучащее упоминание: «Шла вторая неделя святок, святок нового, тысяча девятьсот двадцать восьмого года»,— похоже на еще беззвучно вспыхнувшую на горизонте зарницу и тревожно перекликается с простодушно распеваемой деревенской молодежью рекрутской песней:

Жить недолго остается
На родимой стороне.

Еще всего только комически выглядят и озадаченность молодого председателя сельсовета Микуленка полученной из уезда бумагой, столь бесконечно далекой и по духу, и по канцелярски-тарабарскому слогу не только от святочного разгула, но от всех сугубо будничных забот российской глубинки, и впопыхах сочиняемый им ответ. В нем, помимо беззастенчивого вранья о якобы проведенной «проработке тезисов ЦК и контртезисов оппозиции», о которых Микуленок явно имеет столь же туманное представление, как о смысле таких слов из директивы, как «констатация фактов», под дымовой завесой громких слов говорится и о реальных нуждах кооперативного хозяйства («Клеймя позором английских капиталистов, требуется укрепление ТОЗа кредитом, также просим выделить одну конную молотилку»).

Но уже в этом вроде бы забавном эпизоде смутно проступает драматическая разнонаправленность многих действующих в жизни сил.

Бюрократическая бумажка, которая «допекла» Микуленка,— вялое отражение (и потому скорее — искажение!) бушевавших в партии споров о путях дальнейшего развития страны, которые не могут не отозваться в самых что ни на есть «медвежьих углах».

Казалось бы, пора даже сказать: отбушевавших, так как троцкистская оппозиция разбита, и, как явствует из полученного Микуленком запроса, «с мест» требуется лишь формальное присоединение к возобладавшей точке зрения.

Завещанная Лениным новая экономическая политика прочно усвоена крестьянской массой, стала ее внутренней опорой, восстановила изрядно нарушенную войнами и революцией стабильность и позволила людям загадывать на будущее (в «Канунах» это воплощено в смелом приступе молодого Павла Пачина к постройке мельницы и в том в особенности, что его затею поддерживают более взрослые и здравомысленные мужики, несмотря на определенный риск, с нею связанный). Постепенно, осмотрительно набирает силу кооперативное движение в разных

своих формах (в Шибанихе «все мужики, все хозяйства поголовно в потребиловке», «маслоартель... ширится и льняное товарищество»).

Правда, и в эту пору не обходится без разных административных действий, отнюдь не способствующих успехам хозяйственного развития в стране, но какое-то время они воспринимаются как досадные частные промахи, еще не прочерчивающие некую настораживающую «линию».

В первой части беловской хроники поступки уездного уполномоченного, а затем секретаря сельской партийной ячейки Игната Сопронова воспринимаются скорее как некий анахронизм, отрыжка времен военного коммунизма. Житейская и даже психическая ущербность побуждает Сопронова смотреть на односельчан и прочих крестьян явно предвзято. Все у него «сплошь зажиточные и кулаки»! Иные его выходки — на грани анекдота (на основании увиденной в газете статьи Ольминского «Ленин или Толстой?» он конфискует сочинения писателя!). Другие же — поопасней, но до поры на Игнаху, как его непочтительно кличут, покамест находится укорот, и его даже освобождают от секретарских обязанностей — за «троцкистские взгляды и левацкие методы».

Однако «был ли Игнат Сопронов троцкистом?» — не без основания спрашивает Игорь Клямкин в одной из глав своей чрезвычайно интересной статьи «Какая улица ведет к храму?» («Новый мир», 1987, № 11) и считает ответственным за неверное зачисление беловского героя по этому «ведомству» автора книги о писателе — ныне покойного Юрия Селезнева (не называя, впрочем, его прямо). Действительно, в этой книге «троцкизм» Игнахи резко акцентирован. Однако уже приведенная выше цитата показывает, что все же не Селезнев первый сказал «Э!».

То, что резко осаженный сначала в родном селе и даже в уезде Сопронов вскоре снова оказывается «на коне» и в дни форсированной коллективизации получает задание создать в Шибанихе колхоз... к вечеру (!), имеет в хронике явственную параллель с тревожными размышлениями подлинных большевиков (например, секретаря губкома Шумилова) о явно крепнущей «тенденции... с уклоном влево», о непонятном восстановлении в партии одного «закоренелого троцкиста», который «снова шумит в Вологде и мутит воду где только может», о том, что высланный в Алма-Ату Троцкий «пакостит по-прежнему», а что касается Сталина, то его «в Москве считают почему-то правым».

Заметим, что сам Игнаха, напротив, предвкушает совсем иное: «С нэпом-то, по всему видать, товарищ Сталин разделается...» И правда, странный какой-то троцкист...

Можно было бы счесть это сугубо личным промахом Белова, если бы и в романе Бориса Можаева «Мужики и бабы» один из героев, выступающий в роли трезвого наблюдателя назревающих «перегибов», тоже не видел бы в их застрельщиках «последышей Иудушки, кровопивца Троцкого». И это отнюдь не случайная, единичная обмолвка Успенского, во многом явно выражающего мысли автора.

Слов нет, у Троцкого хватает серьезнейших прегрешений перед страной и народом. Однако о его позиции в пору так называемой сплошной коллективизации можно судить хотя бы по тому, как она была охарактеризована в докладе С. Орджоникидзе на XVI съезде партии в июле 1930 года, где приводились и высмеивались предложения «оппонента».

«В области сельского хозяйства,— пишет далее Троцкий,— задержать дальнейшую коллективизацию».— Ишь ты, какой левый! (С м е х)... «Приостановить раскулачивание!» — требует Троцкий. Помните, сколько он болтал о кулаке, сколько раз упрекал нас за то, что мы, мол, не так деремся с кулаком. (Г о л о с а: «Да, да»). А теперь, когда большевистская партия, подготовившись заранее, как следует взяла этого кулака за глотку, он говорит: не трогай, приостанавливай раскулачивание. Вот это называется «левизна»!» (Стенографический отчет, 1930, М.-Л., с. 324).

И в отчетном сталинском докладе тому же съезду хотя и говорится о препятствовавших успехам сельского хозяйства «перегибах и головокружении «левых» (с. 32), однако в данном случае о троцкизме даже не упоминается, да и весь съезд проходит под знаком завершения борьбы с «правыми» — Бухариным и Рыковым, главными противниками плана форсирования коллективизации.

Сталин говорил, что «ни одно наступление, будь оно самое успешное, не обходится без некоторых прорывов и заскоков на отдельных участках фронта» (с. 38). В этой формулировке — истоки той бюрократической «поэтики», которая потом целыми десятилетиями служила заслоном и оправданием самых серьезнейших ошибок и даже порой преступлений, отливаясь в броские формулы типа «лес рубят — щепки летят» или «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Вместе с тем и для полного объяснения и оправдания всего этого «некоторого» и «отдельного» бюрократизм искал какого-либо козла отпущения, чтобы самому выйти сухим из воды. В этом смысле довольно своеобразный оттенок приобретает утверждение одного из съездовских ораторов: «Вредительство для нашего хозяйства имело колоссальное значение» (с. 327), хотя, казалось бы, оно заметно расходится с данным самим Сталиным определением «вредительства как формы проявления классовой борьбы со стороны небольшой кучки буржуазных специалистов, этой агентуры международной буржуазии» (с. 319). Впрочем, приведший эту «исчерпывающую характеристику» Орджоникидзе почти одновременно утверждал: «Теперь мы привыкли и знаем, что таких вредителей много, и поэтому (!) раскрывать их не так-то уж трудно» (там же).

И вот, когда огрехи и, если придерживаться вышеназванной поэтики, некоторые отдельные последствия «великого перелома» в сельском хозяйстве с годами делались все заметнее, то, спохватившись, «не так-то уж трудно» было отнести их на счет троцкистов.

Удивительно ли, что и Белов, и Можаев, писатели, чрезвычайно друг на друга непохожие, «вдруг» воспользовались этой старой схемой, хотя против нее буквально вопияли и вышеупомянутое упование Игнахи на Сталина как упразднителя нэпа, в условиях которого сопроновым трудно развернуться, и порой возникающие в можаевской книге реплики из мужицкой гущи, чутко прислушивающейся к обозначающемуся повороту? Ограничусь следующим выразительным диалогом:

«...ответь на такой вопрос: почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?

— Ну, это несерьезно!

— Как так — несерьезно? Видел на портретах — Ленин в ботиночках со шнурками... А Сталин — завсегда в сапогах. Почему?

— Такая уж форма одежды. Сталин — человек полувоенный...

— Чепуха! — сказал Федорок. — Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да посуше, а Сталин чертом прет, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи».

В иные времена Федорку бы не поздоровилось за эту «антисоветчину», но суть поворота в политике, который здесь, пусть даже прямолинейно, отождествлен с конкретным человеком, ухвачена метко и едко.

Однако когда Белов и Можаев уже, видимо, вовсю трудились над художественным воссозданием этого переломного времени, в освещении деятельности Сталина произошел тоже своего рода поворот — откат в сторону прежних, «канонизированных» ее оценок, реставрация или в лучшем случае легкое «подновление» былых оценок, их же не прейдеши.

Наши авторы в какой-то мере оказались в положении Павла Пачина, чья строящаяся мельница оказалась вроде не ко времени и возбуждала недовольство и подозрения у разнофамильных Игнашек. И неудивительно, что это сказавшееся и в литературе попятное движение в определенной мере отразилось на работе обоих писателей, побудив их вольно или невольно в некоторых случаях потянуться к изрядно перепрелому строительному материалу.

Однако за вычетом этого обстоятельства «Кануны», как и «Мужики и бабы», заслуживающие отдельного разговора, рисуют весьма реалистическую картину происшедшего, нисколько не утаивая «ни луж, ни грязи».

«Нет, революция пусть будет представлена революцией, а не благоприличной картиночкой, где впереди рабочий с красным знаменем, за ним — благостные мужички в совхозе, и на фоне — заводские трубы и встающее солнце. Время таким картинкам прошло...» — писал еще шестьдесят лет назад, в 1927 году, Алексей Толстой, хотя и сам он, прямо скажем, не во всем впоследствии следовал этой программе, да и «время», о котором он говорит, к сожалению, не торопилось уступать место иному.

Беда подобных, подзадержавшихся в обращении «картиночек», была в том, что в заботах о «благоприличности» и «благостности» их авторы боязливо чурались воспроизведения истинных, во многом драматических масштабов изображаемого — этого, если вспомнить слова Блока, «многопенного вала», который неминуемо будет «на пути своем крушить виновных, как и невиновных».

В одной из сцен беловской хроники разбитной отец Николай вместе с другими участниками незатейливой пирушки распевает залихватскую песню Демьяна Бедного:

Что с попом, что с кулаком
Вся беседа —
В брюхо толстое штыком
Мироеда.

Распевает как нечто, не имеющее к нему отношения, повествующее о «делах давно минувших дней», и ведать не ведает, что вскорости сам станет участником таких «бесед», где «слово» получат если не штык и маузер времен гражданской войны, то весьма родственные им и не менее неотразимые «аргументы».

Разумеется, в те годы перед новорожденным обществом было действительно, невпроворот неотложных задач и проблем (потребность в индустриализации, в укреплении обороны страны и т. д.), но выбор их решений и характер их осуществления во многом подстегивались и определялись, пожалуй, все-таки не только самими этими реальнейшими нуждами, но и быстро усвоенными значительной частью административного аппарата бюрократическими навыками.

Некогда Щедрин саркастически уверял, что чиновник его времен, получив поручение вычислить, сколько Россия может вырастить картофеля, исполнит его самым простейшим образом: возьмет карту, поделит страну на квадраты, узнает, какой средний урожай можно в среднем вырастить на соответствующей площади, и перемножит эту цифру на количество квадратов! Нечто подобное не раз происходило и в куда более поздние времена.

Конкретные условия каждого «квадратика», до которого доходили перемены и реформы, зачастую попросту игнорировались. Реальная, многообразная жизнь заталкивалась на прокрустово ложе отвлеченных, суммарных представлений и соображений, а осмотрительное ленинское предупреждение, о котором напомнил в послесловии к своей книге Борис Можаев: нельзя, не знавши истории данного хозяйства, сказать, кулаческое оно или нет, — по большей части оставалось отныне на бумаге.

Уже в самом начале «Канунов» даже довольно легкомысленный Микуленок недоумевает и досадует, когда немощной, совершенно бесперспективной окрестной коммуне, так сказать, из принципа «пехают в оба конца, чего не спросят... А нашему ТОЗу — хрен с возу!»

В дальнейшем же кадры, проводящие коллективизацию и раскулачивание, без особого разбору вербуются из бедняков, какова бы ни была их «история», что́ бы ни было причиной их несостоятельности (хотя бы просто лень или даже склонность к паразитизму!), а вся тяжесть налогового обложения, все печальной памяти «твердые задания» и, наконец, репрессии, лишение всякого имущества, высылка в далекие края ложатся на сколько-нибудь вставших на ноги хозяев. Недаром у прибывших в Шибаниху агитаторов за артель возникает своего рода зловещая «смычка» (призывное слово тех лет!) с Игнатом Сопроновым, полным самой злобной мстительности по отношению к любому, кто кажется ему «зажиточным». И эта совместная деятельность вызывает к жизни горестно-презрительную частушку: «Как по этой по деревенке пройдем, проухаём, наши головы не варят, кулаками стукаём!».

Тягостные предчувствия вероятных драматических поворотов в своей судьбе томят многих беловских героев, и отсвет этих настроений ложится на самые обычные хозяйственные хлопоты. Всего только тараканов морит Иван Никитич Рогов, а почему-то «ему было жутко распахивать двери, пускать в избу густой январский мороз... Вышел из избы, закрыл на замок ворота в сени. Скрипя серыми валенками, пошел к Евграфу. Но не утерпел, оглянулся. Над трубой чуть заметно дрожало покидающее избу тепло».

Словно видение какой-то иной разлуки ниспослано герою,— автору же, наверное, вспоминаются остывшие очаги родной Тимонихи.

Кооператор Шустов печально наблюдает, как под грубым нажимом «сверху» отлетает жизнь от дела, которому отдал много лет.

И уже как-то по-иному вспоминается, как Павел Пачин валил для своей мельницы великаншу-сосну и после этого «в синем небе образовалась зияющая пустота».

Впрочем, книга не зря названа «Кануны»: ее третья часть так и завершается на этой ноте тревожного ожидания трудных перемен, а для нас, современных читателей, сурового напоминания об отшумевших «грозах» и их уроках.

О том, например, что, как говорится в уже упоминавшейся статье Игоря Клямкина, «левым Игнашкам предстояла долгая жизнь хозяев положения, превращение в овечкинских борзовых, потесненных, но не вытесненных до сих пор» (в отличие от можаевского Возвышаева и других «перегибщиков», едва ли не по воле автора угодивших в конце концов на скамью подсудимых).

И о том, как может отозваться все пережитое на детях и внуках героев книги. Любопытно, например, что в толпе ее многочисленных персонажей изредка мелькает Африкан Дрынов, бедный мужик из дальней деревни со своей «замасленной, пропотелой буденовкой» и весьма трезвыми суждениями («Нэп отменят, так это дело и по бедноте тоже стукнет. Второе дело: беднота бедноте — рознь!»). Постой, думаешь, да уж не отец ли это нашего старого знакомого — Ивана Африкановича — ге-

роя беловского же «Привычного дела», которого кто восславлял за кротость и долготерпение, а кто за это же корил чуть ли не по-прокурорски: дескать, откуда у солдата Великой Отечественной, победителя, такое смирение?!

Нетрудная, однако, загадка. Вспомним, что и сознательнейший абрамовский Илья Нетесов, храбрый на войне, тоже во многом спасовал в «мирной» жизни. То, что у Африкана Дрынова за долгие годы выцвела буденовка,— невелика беда. Вот когда выцветают, линяют, деформируются человеческие характеры — это хуже, хотя для разнофамильных сопроновых весьма удобно.

«Да, все изменится: дома и дороги, поля и речки,— писал Белов в «Раздумьях на родине», знаменательно завершенных в один (1984) год с третьей частью «Канунов».— Я знаю об этом. И если новое будет лучше старого, я ни о чем не стану жалеть».

...Но вспомнишь про молчаливые сучки на тесаном потолке тимонихинского дома, и захочется вернуться на несколько страниц раньше, перечесть другие, больше пришедшиеся тебе по сердцу строки:

«И снова будет сниться то сенокос, то широкий разлив вешней реки, опять послышится дальний окающий голос причетчицы:

Ты послушай-ка, млада-милая,
Что я буду тебе сказывать.
Тебя станут звать, да млада-милая,
Станут звать да за Забыть-реку,
Ты не езди за Забыть-реку,
Ты не пей-ко забытной воды...»

1987

СРАЩЕННЫЙ ПРОВОД

Почему никак не уходит из памяти именно этот эпизод, вероятно, даже не самый драматический на общем фоне нескольких рассказов Владимира Тендрякова?

В разгар боя солдат-телефонист безуспешно взывает: «Клевер!.. Клевер!» Но лишь «тупая немота в трубке», и надо под огнем отыскивать обрыв, сращивать провод, восстанавливать связь...

Сама посмертная публикация этих рассказов — тоже своего рода «сращивание провода», когда голос автора снова доносится до нас, «досказывая» то, что не удалось донести до читателя при жизни, и словно бы торжествуя над смертью.

И за твоею мглой безгласной,
Мы — здесь, с живыми заодно.
...И как бы ни был провод тонок,
Между своими связь жива.

Да уж, кто-кто, а Тендряков поразительно свой для нас, для наступившего времени, которое он по мере своих сил старался приблизить своей работой...

И все-таки не только поэтому, наверное, невольно возвращаешься к этому батальному эпизоду, особенно когда вновь перечитываешь первые два рассказа.

«Лето 1929 года...

Я подымаю его почти со дна моей памяти»,— так начинается «Пара гнедых», и схожим образом — «Хлеб для собаки»: «Лето 1983 года».

Перед нами воспоминания «зрелого и весьма искушенного человека», как аттестует себя рассказчик, поясняя, откуда берется в них «трезвая рассудочность... изложения».

Иной давний читатель Тендрякова тут, еще не войдя «в курс дела», может мимолетно подумать, что подобная рассудочность действительно бывала свойственна этому автору и к чему, дескать, на сей раз было о ней специально предупреждать.

Однако потом, прямо-таки ухнув в изображаемое писателем «воспаленное время», в провинцию, развороченную коллективизацией,— в деревню и пристанционный поселок,— начисто забудет о своих мыслях, а если и припомнит тендряковские слова о «трезвой рассудочности... изложения», то, пожалуй, даже пробормочет что-то вроде: «Побольше бы такой рассудочности...»

События, о которых идет в этих рассказах речь,— из тех, о которых целые десятилетия стояла «тупая немота», как в смолкшей трубке фронтового связиста. Рассказы Тендрякова, как и почти одновременно с ними созданная поэма Твардовского «По праву памяти»,— попытка восстановить «связь» с этими временами во всей их реальности и драматизме, не опасаясь, что в результате перед нами возникнет нечто весьма не совпадающее с давно устоявшимися представлениями, как непохож на иных наших батальных героев солдат, чудом выбравшийся из адского пекла боя в рассказе «Донна Анна»:

«...в траншею посыпалась земля, донесся влажный всхлип, и кто-то черный, взлохмаченный бескостно свалился вниз, дернулся, поерзал и затих. Доносилось только тяжелое, со всхлипами дыхание...

— Эй, милок, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость оттуда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю».

А вот другой выбравшийся — да что там: выбравшийся! — как бы вытащенный писателем из мертвой зоны забвения:

«Он лежал перед нами, мальчишками,— плоский костяк в тряпье... череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы его осуждающе разглядывали. Две лошади имел, кровопиец!»

Это один из раскулаченных «куркулей», умирающий в том голодном тридцать третьем под благовест победных реляций об успехах коллективизации...

В «Паре гнедых» есть сцена, поначалу кажущаяся заимствованной из многих прошлых книг о коллективизации:

«Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов...»

Но тут сходство кончается. Противник тоже картинен: «А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми меня за рубь двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трын-трава!»

По чистосердечному воспоминанию рассказчика, он не только «тайно и безумно» любил коробовских красавцев коней, но, как и вся детвора, с обожанием относился к их лихому хозяину. Взрослые этих восторгов отнюдь не разделяют: «С ним на палочке не тянись — руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — простачок».

И когда отец рассказчика, присланный в село устанавливать справедливость, круто приступил к делу, распорядившись, чтобы бедняки и зажиточные... поменялись домами, «хват» Коробов и на сей раз показал себя: «скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности», по его ерническому выражению,— отдал коней соседу, остальное добро частью бросил, частью эффектно пожертвовал на детский дом, да еще написал письмо, в котором «все как есть от души объяснил»: «почему... расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью».

«За такое, Федор Васильевич,— говорит он отцу рассказчика,— по голове не бьют, как раз гладят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется».

В какой френч, в какой китель обрядится Коробов, мы из рассказа так и не узнаем, но, уж точно, не пропадет, как иные, валяться в пристанционном скверике, как куркули в «Хлебе для собаки», не будет.

Лет тридцать назад Твардовский, вспоминая о подобных «хватах», сумрачно заметил: «А теперь они нас идеологии учат...»

Пока же он «ласково щурится в висок» Федору Васильевичу и умно издевается над его простодушным «головокружением от успехов», безошибочно нащупывая самые уязвимые места устанавливаемых порядков. Всеобщее равенство? «Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?» — с ехидцей интересуется он, и трудно, ох, трудно собеседнику «тя-

нуться с ним на палочке», ибо Тенков — пришлый, а Коробов-то все и всех тут до тонкости знает.

Горластый лодырь Ваня Акуля как раз и въезжает в коробовский дом. «Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте» — в этих словах Коробова и насмешка, и угроза, и пророчество. За подтверждением его правоты дело не стало: Акуля начал с того, что пропил... железную крышу и шатался по селу, возглашая: «Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!»

Не всегда, далеко не всегда мы «доглядывали», чтобы подобные акули не выходили в «ги-гемоны», как он сам горделиво выражается!

«Что-то тут не продумано... Что-то тут не совсем... Что-то тут у нас...» — как стал все чаще говорить Тенков, видя все происходящее вокруг.

Затем его перевели «в другой район на более ответственную работу», но вряд ли и там избавился он от этих тревожных мыслей — в том местечке, где происходит действие рассказа «Хлеб для собаки».

Это районный «вождь» Дыбаков с его подчеркнуто монументальной внешностью способен бестрепетно объяснить доходяге-«куркулю», что с ним поступили справедливо. У отца же рассказчика «в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки». Конечно, ему неведомы все те цифры грандиозных потерь, понесенных тогда страной, которые с «трезвой рассудочностью» приводит автор в заключающих рассказы «документальных репликах», но дыхание «чужого» горя явно опалило и его.

Рассказ «Параня» открывается новой, зловещей датой: «Лето 1937 года». И все в нем изображенное — какой-то трагический фарс, в котором переплелись, спрессовались самые уродливые черты времени.

Только ли от летней жары «осоловел» железнодорожный поселок — или еще и от оглушительного, натужно-бодрого песенного трезвона, доносящегося из репродуктора и бесконечно славословящего одно и то же имя? «Хохочущее колесо» людей, потешающихся над дурочкой Параней, прикатилось, конечно, из давних времен и нравов, но вот «репертуар» ее собственных высказываний быстро обновляется, когда в поисках, чем бы приструнить обидчиков, она со зверушечьей чуткостью улавливает ту пугливую оторопь, какая возникает вокруг при упоминании о самом «мудром, родном и любимом».

Роли внезапно меняются: былые преследователи, да и все, кого Параня не встретит,— в панике, а она знай наяривает на верно угаданной ноте: «Свирженье-покушенье!.. Ножики точут!.. На родного и любимого...» И уже на одного за другим уставляется ее грязный палец, и шарахается тот, и — от него шарахаются, подозрительно вглядываются, перешептываются на его счет, и все это мотают себе на ус те, «кому ведать надлежит», ибо «на голос масс не реагировать просто преступно» (да и небезопасно,— того гляди, сам загремишь...).

Признаться, после этого рассказа почти с облегчением переносишься в иную, военную пору, описанную в «Донне Анне». Хорошо, конечно, облегчение! «Лето 1942 года»! Но тут, думаешь поначалу, будут бои и потери, но зато, как сказано у поэта, «ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе». Да и лейтенант Ярик Галчевский со своей любовью к маме, Блоку и революционным и военным (точнее — предвоенным...) фильмам — совсем из другого, кажется, мира, чем Параня с ее «мокрым от слюней подбородком... и блуждающими каждый по себе глазами».

Но вот миг тяжкого испытания, когда неразумный приказ требует от командира роты Мохнатова, «парнишки» с «сухой мочальной прядкой из-под пилотки» и еще дающим петуха голосом, фактически обречь людей на полное истребление, а тот, уже бывалый вояка, всеми правдами и неправдами уклоняется от этого и... попадает под бдительное око Галчевского, истерически взвинченного предвкушением ратных подвигов.

Тут уж не косноязычное «свирженье-покушенье» является на сцену, а вполне гладко и «интеллигентно» высказанное страшное обвинение: «Ради спасения своей шкуры, вы... Вы подлый трус!.. Вы изменник родины, Мохнатов!» А в дополнение к этому словесному расстрелу — и настоящая очередь из автомата и картинный «рыдающий» призыв в атаку, из которой почти никто не вернулся.

Поведав об этом бое-избиении, рассказчик замечает, что «это было началом нашего отступления». Совпадение случайное и вместе с тем знаменательное! Ведь «Ярик» — плоть от плоти тех, кто воспитывал людей на шапкозакидательских фильмах, кто, не внимая здравым предупреждениям, в то самое лето слал части в наступление, когда надо было выждать, кто видел в осторожности — измену, в трезвых коррективах намеченных планов — «свирженье-покушенье» на авторитет тех, кто их составлял и благодаря кому дорога к победе оказалась куда более кружной и долгой, чем могла бы быть.

Четыре рассказа, донесшие из дальней дали времени лица и голоса, чтобы мы вглядывались, вслушивались, судили, кто прав, кто виноват, восстанавливали историческую истину, да и просто не забывали о тех, кто жил на этой земле до нас.

Лица, лица — и среди них тот связист со смешной фамилией Небаба, который — помните? — «лежал всего в десяти метрах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь».

Сказать ли? Он кажется мне таким похожим на самого Владимира Тендрякова, тоже «сращивавшего» провод, ведущий через десятилетия, и смертью храбрых (бывают такие и в литературе!) павшего всего «в нескольких шагах» от перемен, которых так страстно ждал...

1988

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С ЗЫБИНЫМ?

Закрыл последнюю страницу романа Юрия Домбровского и захотелось перечесть прежний — «Хранитель древностей», начинавшийся словами: «Впервые я увидел этот необычайный город...»

Вот и читатели четверть века тому назад впервые познакомились с этой своеобразнейшей прозой, воссоздавшей напряженную атмосферу конца тридцатых годов, где все большее место занимали подозрительность, смутные, тревожные предчувствия, неуверенность, шаткость, зыбкость, когда «из воздуха», «из ничего» возникали диковинные, зловещие миражи, неузнаваемо преображая самые обычные лица и события.

Даже слух о змее, пусть и в самом деле большой, не только превращает полутораметрового среднеазиатского полоза в чудовищного гиганта («Длиной добрые четыре метра. А толста, как ствол средней яблони»), но и сам по-удавьи обвивается вокруг человеческих судеб, множа и множа змеиные кольца намеков, домыслов, самых произвольных истолкований будничных поступков тех, кто оказался под подозрением.

Реальный полоз убит и выглядит «жалким и ненастоящим». Отныне его удел — быть чучелом в местном краеведческом музее.

Но что касается его фантастически разросшейся тени, то она зажила своей собственной жизнью, умножив собой змеиный клубок других, уже «заведенных» дел, беззвучно скользивших за облюбованными жертвами или даже вовсю чинивших над ними суд и расправу.

Как многие слова в ту пору, канцелярский термин «делопроизводство» приобрел новый, зловещий смысл...

«Хранитель древностей» завершался картиной мнимо умиротворяющей ночи, когда, как повествует рассказчик, «тихо и мирно спали наши женщины, веря в нас, в нашу мужскую силу, доброту, ум, мужество и в то, что мы сумеем не допустить в мир ничего плохого», хотя в эти же самые часы из бессонных пишущих машинок, шурша, выползали и выползали бумаги, смертельно жалившие неповинных людей.

«Очень строгое время наступает», — встревоженно предупреждал директор музея своего сотрудника Зыбина, выступавшего в прежнем романе как рассказчик.

«Я еще не знал, какое это время наступает, — размышляет тот, — и зачем ему надо наступать именно на меня...»

За привычным словесным оборотом (время наступает) снова начинается у Домбровского обнаруживаться неожиданный смысл: на кого? — и только ли в том патетически-воинственном смысле, который был в изобилии присущ оркестровой лексике той эпохи, или еще

и в другом, куда менее тогда употребительном: придавить, обидеть кого-нибудь, повредить кому-нибудь.

«Вот вы, я вижу, батенька, и до сих пор не поняли, что же с вами случилось,— говорит уже в романе «Факультет ненужных вещей» Зыбину, когда время совсем «наступило» на него, многоопытный сосед по камере.— А пора бы! Ох, пора бы!»

Слова эти едва ли не с большим основанием могут быть адресованы всем нам.

Да, Зыбин не свободен от мысленных иллюзий тех лет и в своих мучительных разговорах с «самым большим человеком эпохи» сперва испытывал «один трепет, одно обожание, одно чувство гордости за то, что он так легко и свободно может говорить» с ним. «Вразумляя» наивную и чистую девушку Дашу, казнящуюся характерным для многих тогда ужасом и недоумением: как это вчерашний герой революции и гражданской войны может вдруг стать предателем и врагом, Зыбин как будто вторит своему ночному «гостю»: «Во время величайших исторических сдвигов войн, революций, переворотов — к сожалению, да, может!» Впоследствии он даже сам едко уподобляет себя «старому хрипучему граммофону», куда «заложили семь или десять пластинок», «и вот я хриплю их, как только ткнут пальцем»: «Если враг не сдается — его уничтожают», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Кто не с нами, тот против нас» и т. д.

Но на самом-то деле мысль этого героя даже в разговоре с Дашей только по видимости влечется «по течению» и отнюдь не утрачивает способности к саморазвитию, к явственному сопротивлению тому темному, что наступает не только на него, а в сущности на жизнь вообще.

Любовь к жизни, вроде бы совсем простой в своих будничных проявлениях и вместе с тем бесконечно богатой в своей мнимой незатейливости,— такова постоянно ощутимая почва зыбинской, да, вероятно, и нормальной человеческой мысли вообще.

Это его ночного «оппонента», благодушествующего в своем саду, прямо-таки забавляет замечание садовника (не метафорического, которому столько раз елейно уподобляли «самого большого человека эпохи», а простого, всамделишного) о том, что «боровики, подберезовики, подосиновики и даже маслята — это грибы вольные, чистые, лесные, они где вздумается, там и растут».

Зыбина же в самые разные, часто совершенно неожиданные моменты потрясает ощущение многообразия, непредсказуемости жизненной стихии, где столько всего — зачастую драматически — соседствует: «сад, ветер, запах трав и яблок, блеск и трепет листьев, на траве чуткие черные тени их, а тут больница и смерть»,— проносится в его душе, когда он наклоняется за пахнущими йодоформом носилками для заболевшего.

И в самой фамилии героя словно бы маячит какое-то неназойливое напоминание о ничем не унимаемом движении всего вокруг, зыби,

играющей на житейском просторе, то вспыхивающей под солнечным лучом, то хмурящейся от непогоды.

Даже в кабинете следователя ему выпадает счастье «неположенного» ему свидания с «сестрой» — жизнью, заглянувшей в окно: «...Зыбин растерялся, сбился с толку перед этим несчитанным богатством. Веток, сучьев, побегов... Он смотрел и не мог глаз отвести. Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опадали, ползли — дерево дышало...»

Но за что же все-таки на него наступать-то? Добряк, бессребреник, книгочей, мечтатель, для которого любая музейная, археологическая «пылинка» способна, по выражению поэта, окутать мир цветным туманом, населить его образами давно ушедших людей, заставить пережить их судьбы. Кому мешает он, ни во что вроде не встревающий? «Стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно,— размышлял он еще в «Хранителе древностей»,— никого не толкнуть, не задеть, не рассердить...»

Ан, не тут-то было...

Оказывается, даже в глазах весьма симпатизирующего ему директора музея, на которого жизнь тоже, видать, «наступила», оттеснив бывшего комбрига в совершенно незнакомую ему сферу, Зыбин выглядит совсем по-другому, вызывая некое тревожное беспокойство: «...откуда такие берутся, вот такие, как он, тихие, настырные и дурные?»

А любимая женщина, тревожащаяся за участь Зыбина, высказывается уже совсем напрямик, ставя все точки над і: «...Ты только ходишь и треплешься, рискуешь головой за словечко, за анекдот. Высказываешь свое недовольство в формах, опасных для жизни. Ты, как говорят юристы, источник повышенной опасности».

И тут же в ночном разговоре-кошмаре «высокий гость» Зыбина подводит итог их философскому диспуту: «...вы нам мешаете, вот и приходится вас...»

Чем же?!

А вот тем, что «треплется», когда большинство уже уразумело необходимость больше помалкивать, а в переводе на нормальный язык всего лишь говорит то, что думает, осмеливается возразить тому, что не то что оспаривать, но всерьез обсуждать — и то не положено.

Тем, что «рискует головой за словечко», если оно, на его взгляд,— смешно сказать! — этого стоит, когда отказаться от него, пренебречь им — это уже во многом значит и от себя самого отказаться, от человеческой своей сущности и ото всех «ненужных вещей», как презрительно именует следовательница, которой «приходится» приняться за зыбинское дело, самые элементарные правовые и нравственные нормы.

Воображаемая беседа героя со Сталиным соотносится со знаменитым диспутом с чертом и всеми мучительными размышлениями Ивана Карамазова не только по своей фантастичности и «общему колориту», но и потому, что ужас, испытываемый Зыбиным при одном только предположении, что его собеседник может окончательно восторжество-

вать, сродни желанию героя Достоевского «почтительнейше» возвратить билет на право существования в мире, где к топчущим правду и людей сапогам насильника должно «припадать как к иконе».

И тут, пожалуй, фамилия героя Домбровского обнаруживает еще один свой смысловой оттенок, помогая нам понять, за что его «все гонят, все клянут» и почему ему уготована «мучителей толпа», куда похлестче, чем в знаменитой грибоедовской пьесе.

Горе от ума и горе уму, если он зыблет — колеблет, потрясает — устои слепой веры в правоту всего совершающегося вокруг, веры в то, что сказанное или сделанное «корифеем» «не об-суж-да-ют!.. У-ча-т!», как сердобольно, хотя и вряд ли искренно, вдалбливает сотрудникам директор музея, дабы они усвоили «строгость» времени.

А Зыбин даже в разговоре с Дашей, вместо того, чтобы убаюкать заворочавшееся в ее душе сомнение, в сущности, только подбрасывает ему новую пищу: «...что происходит с идеей, когда она становится действительностью? Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя... у идеи в действительности не одно или два лица, а добрый десяток их. Только проявляются они не сразу».

Не-е-ет, он и в самом деле только «мешает»! Он хранитель «древностей», уже совсем не только специфически музейных, а всех тех культурных и нравственных «несчитанных богатств», о необходимости унаследовать которые было сказано на самой заре новой жизни. По трагическому стечению многих причин и обстоятельств они вскоре стали объявляться «факультетом ненужных вещей», который не грех закрыть за ненадобностью и бесполезностью, а «слушателей» его презрительно высмеять как жалких недотеп и выживших из ума, обреченных донкихотов («...Вы нам мешаете, вот и приходится вас...»).

Вроде бы жребий Зыбина предрешен. «Покойников с кладбища назад не таскают»,— философически замечает по адресу своего арестованного сослуживца и собутыльника столяр Середа. Ту же мысль по-своему, отечески-наставительно преподносит подчиненным полковник Гуляев: «Кто посидел на нашем стульчике — тому уж никогда не сидеть на другом».

И правда: освобождение Зыбина, происходящее на страницах романа, столь же сказочно, как и «высочайшая милость», неожиданно проявленная выполовшим миллионы человеческих судеб «садовником» к «зеку» Каландарашвили, обратившемуся к нему с неслыханно дерзкой просьбой — вернуть деньги, какие этот былой адвокат некогда потратил на ссыльного Иосифа Джугашвили.

Чудеса, они на то и чудеса, чтобы быть наперечет (как, например, покаянное прозрение одного из зыбинских следователей) и лишь в обыденном сознании нередко разрастаться до таких же баснословных, неправдоподобных размеров, как печальной памяти змея в «Хранителе древностей».

Зато история «уловления» ближайшего зыбинского сотрудника Кор-

нилова в число пресловутых осведомителей, этот, если можно так выразиться, апофеоз всей атмосферы предательства, вольного или невольного, вынужденного обстоятельствами или, так сказать, профилактического (дабы самому не сделаться его жертвой), — при всей заостренности и парадоксальности отдельных фабульных деталей происходящего — дышит горчайшей правдой и во многом иллюстрирует еще одно философическое размышление деда Середы — о безумной грызне в фургоне, полном несчастных, отловленных для истребления собак.

А следователь — писатель Роман Львович Штерн со своими «Записками...», которые сам цинично именует «мемуарами бабы-Яги», так это уж не только типичная фигура того времени, а скорее памфлетная зарисовка с натуры, вызывающая в памяти вполне определенный «прототип».

...И вот последняя страница последнего романа Юрия Домбровского.

Словно в глазок отъезжающей кинокамеры увидены и освобожденный (надолго ли?) Зыбин, отмечающий свою фантасмагорическую удачу в не менее диковинном обществе — уволенного следователя Неймана и спивающегося осведомителя Корнилова, и гордый и неприкаянный художник Калмыков, время от времени возникавший в повествовании и ранее, а сейчас запечатлевающий эту странную троицу в присущем ему самобытном и причудливом стиле, быть может, в чем-то родственном дерзкой и раскованной манере самого писателя, который, несмотря на все превратности собственной судьбы, сумел воздвигнуть в литературе свой «необычайный город».

1989

В «ГАЙД-ПАРКЕ»

В сентябрьском номере журнала «Молодая гвардия» за 1987 год опубликованы материалы дискуссии молодых авторов о «современных проблемах нашей общественной и культурной жизни».

Дискуссия есть дискуссия, и странно было бы требовать, чтобы мнения ее участников во всем совпадали и всегда были бесспорны.

Однако перед нами случай не совсем обычный: спорящих тут нет, собрались люди, на редкость согласные между собой по всем затронутым вопросам.

Наша общественная и культурная жизнь, как знает любой читатель, сейчас очень напряженная, динамичная, во многом противоречивая, но явно вселяющая надежду на давно назревшие перемены.

И, признаться, первая неожиданность при чтении речей участников дискуссии — это явная обеспокоенность главным образом «перекосами гласности», упоминание о которых даже вынесено в заголовок одного из выступлений.

Трудно не согласиться с резонным опасением, «как бы нам перестройку и гласность не превратить в очередные лозунги на время...»

Но вот рядом читаешь:

«Да, «шлюзы» открылись. Но вместе с долгожданной, чистой, живительной струей с телеэкрана, из эфира, со страниц газет и журналов хлынула и... разноцветная густая пена!» (поэт Олег Кочетков).

«И пошло и поехало! На телевизионные экраны необузданным потоком хлынули волны неистовой рок-музыки, разрушающей не только податливые души нашей молодежи, но и поистине — всё вокруг живое» (поэт Валерий Хатюшин).

«Вместо воспитания чувств любви и дружбы каждого народа СССР к любому другому народу нашей страны (только? — **А. Т.**) некоторые средства массовой информации с помощью американизированной массовой культуры пытаются привить нашей молодежи космополитизм» (Анатолий Доронин).

Средства массовой информации «за редким исключением, бросились прославлять рок-музыку, западную масс-культуру...» (критик Александр Фоменко).

А историк Михаил Устинов вздыхает, что «еще в недавнем прошлом невообразимо было, чтобы на экранах танцевали, с позволения сказать, девушки в нарядах, столь откровенно демонстрирующих подробности женской анатомии».

Так-таки анатомии?! Тут уж, совсем не будучи поклонником поэзии покойного Владимира Высоцкого, которому тоже страсть как достается от «племени младого, незнакомого», невольно вспомнишь: «Страшно — аж жуть!»

Александр Фоменко корит «Литературную газету» за то, что она не напечатала открытое письмо сорока прозаиков, поэтов и критиков, «пришедших в литературу в 80-х годах», «посвященное острейшим проблемам литературной и общественной жизни».

Каким же именно? Что там конкретно говорилось? Скажите уж, раз вам на этот-то раз предоставлена аудитория с 640 тысячами слушателей — читателями «Молодой гвардии»!

Но оратор многозначительно помалкивает, а я, хотя и у меня есть свои претензии к газете, на сей раз думаю: а может быть, она просто в тупик встала перед некоторыми высказываниями наподобие тех, что нынче опубликованы на страницах названного журнала? Перед таким, например: «После того как Великая Отечественная война явила невозможность физического уничтожения советского народа, методы явных и тайных врагов изменились коренным образом. В период всеобщего попустительства был нанесен серьезный урон основополагающим нравственным ценностям советского народа. Стали усиленно насаждаться идеи политического плюрализма, моральной относительности...»

Интересно было бы узнать, как датирует сам историк Михаил Устинов столь броско окрещенный им период, и, право, это еще не все вопросы, возникающие при чтении этого пассажа.

Но послушаем другого оратора — критика Константина Ковалева:

«Вредоносные стволы, оторвавшиеся от корня отечественной культуры, засоряющие почву дикорастущим бурьяном, способным уничтожить многовековую окультуренную поросль, в конце концов следует отделять от корня. Иначе литература, как пушкинская героиня, будет рождать «не то сына, не то дочь», «неведому зверушку».

Бог с ними, с этими таинственными стволами, способными заражать почву бурьяном, которые почему-то надо отделять от корня, хотя они уже и сами от него оторвались, но зачем же на пушкинскую-то царицу, благополучно родившую, как известно, князя Гвидона, поклеп возводить?

Вот уж где «открылись шлюзы» и «...пошло и поехало», так что невольно задумаешься: да нет ли и в нашей реальной действительности персонажей вроде пресловутых «ткачихи с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой»?

Когда в жизни рождается что-то новое, пусть трудно, в муках рождается, стоит ли стращать себя и нас, что на свет появилась «неведома зверушка» — не то что «в недавнем прошлом», когда о таких напастях и не слыхивали?

Мы-то по наивности думали, что недавний общественный застой пагубно сказывался и на литературе и из-за этого, в частности, читатель был лишен целого ряда произведений, которые не просто делают честь нашему искусству, но и в большей степени способствуют росту общественного самосознания.

Однако Валерий Хатюшин, например, с завидным спокойствием утверждает: «...если касаться именно творчества, то здесь никакие негативные процессы истинно талантливому человеку помешать не могут. Талантливый литератор делает свое дело, пишет о том, что его волнует, несмотря ни на какие внешние трудности, потому что талант — вещь непобедимая, и он тем упорнее стремится к цели, чем больше трудностей (негативных процессов) встречает на своему пути... Так было всегда, и от этого мы никуда не уйдем, как бы ни перестраивали и ни демократизировали свое общество».

А Константин Ковалев даже свысока иронизирует по адресу «смелых» публикаций «гонимых» прежде авторов или их произведений».

Опять-таки о чем конкретно речь, кого язвит критик своими кавычками? Андрея Платонова с его «Котлованом»? Анну Ахматову с «Реквиемом»? Или, может статься, Михаила Зощенко? Михаила Булгакова?

Другой же критик, Виктор Кречетов, поучает нас, что, «упиваясь воздухом свободы, следует все же помнить, что подлинная литература существовала даже и во времена «культа личности» (Леонов, Шолохов, Вургун, Пришвин, Платонов, Твардовский и др.)...»

Как «существовал», например, Платонов, достаточно хорошо известно, да, вероятно, и у многих «др.» нашлось бы что сказать на сей счет.

Только, впрочем, еще неизвестно, кого захотят участники дискуссии причислить к лику этих «др.», а кого даже порекомендуют, как говорится все в той же пушкинской сказке, «тайно бросить в бездну вод».

«Право же, только как курьез можно воспринимать сегодня шумиху вокруг весьма слабого романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», поднятую в шестидесятые годы,— заявляет Александр Фоменко и тут же переходит к «оргвыводам»: — Публиковать же его сегодня в журнале массовым тиражом — не значит ли намеренно компрометировать в глазах всесоюзного читателя крупного советского поэта?».

«Предполагающаяся публикация «Доктора Живаго» в журнале доказывает лишь наш провинциализм,— «дискутирует» с коллегой Виктор Кречетов, — так как на Западе его давно уже пережевали».

А еще один из участников дискуссии, писатель Юрий Сергеев, вообще причислил Бориса Пастернака к «ложным ценностям», правда, уже на страницах газеты «Книжное обозрение» (2 октября 1987 г.).

Не менее суровы наши судьи и к более поздним периодам «нашей общественной и культурной жизни», насчет которых у них тоже есть весьма оригинальные соображения.

«...существовавшая у нас до поры система,— говорил поэт Александр Поздняков,— в качестве своего необходимого дополнения всегда содержала некое инфантильно-полудиссидентское псевдосопротивление, которое, критикуя, осмеивая, оглупляя, доводя до абсурда специально отведенные для него участки системы, создавало таким образом видимую жизненность бюрократии. Такая критика — не более чем оборотная сторона той же бюрократической медали. Деятели этой критики и в прежние времена благополучно процветали... Слишком много у нас людей, которые бы хотели в качестве перестройки представить нам оборотную сторону той же самой медали».

Уф! Да назовите же, бога ради, хоть кого-либо, хоть что-нибудь, чтобы понять смысл этих туманных картин, которых в дискуссии не так уж мало! Вот, не угодно ли:

«Групповщина, случающаяся порой,—это кучка довольно серых в творческом плане людей, но весьма по-боевому настроенных, крепко спаянных и желающих получить блага не мытьем, так катаньем. Если образно, то это мясники-лавочники, которые, объединившись, идут к городской управе требовать, чтобы разрешили торговать червивым мясом. Иногда, если в городе шум и неразбериха, им это удается самим. Но чаще всего они пользуются услугами какого-нибудь именитого городского покровителя, конечно, не за здорово живешь. Поскольку у покровителя своего мяса навалом, да и не только мяса, то он берет с мясников валютой собачьей преданности».

Досадно читать такое у талантливого прозаика Сергея Алексеева.

Прискорбно, когда Виктор Кречетов, прежде чем разделаться с Пастернаком, походя роняет: «...разоблачение лысенковщины нужно, но национальной культуры этим не обогатишь».

Это уж не авторам ли «Белых одежд» и «Зубра» адресовано, которые наивно полагали, что воскрешение памяти о борцах за чистоту

и продуктивность отечественной науки отнюдь не безразлично и для судеб всей нашей культуры?!

«В ответе за время» озаглавлена вся эта «Дискуссионная трибуна», а заголовки некоторых выступлений гласят: «Внимание к слову», «Что за словом?..», «Называть вещи своими именами».

Как хорошо бы следовать своим же собственным призывам и, прежде чем подряжаться отвечать за время, отвечать за свои собственные слова!

Иначе сказанное одним из ораторов: «...нельзя же из культуры делать некий Гайд-парк, где каждый несет, что ему взбредет в голову»,— право же, можно переадресовать многим участникам самой этой дискуссии.

Но вот вопрос: винить ли во всех этих «перекосах» только самих молодых? Ведь есть же, наверное, у них какие-то «ориентиры» среди представителей более старших поколений?

И, словно идя нам навстречу, критик Лариса Баранова-Гонченко говорит: «...в заключение мне хочется назвать имя поэта и человека, который многие годы был для меня образцом чести. Это Станислав Куняев... Общение с ним было настоящей школой трудной любви к большому делу. И я благодарю его сегодня за эту школу, за те высокие, страдательные душевные порывы, которые он, невзирая на трудные времена, на ложную административную этику (?), на непонимание, посвящает будущему нашей литературы».

Тем более интересно в этой связи прочесть напечатанную в том же журнале (№ 8) статью С. Куняева «Ради жизни на земле», посвященную поэзии Великой Отечественной войны, точнее, по выражению автора, «двум достаточно определенным пластам» ее: «книжно-романтическому и реалистически-народному».

Нетрудно догадаться, что все симпатии автора — на стороне последнего, и, в принципе, в этом нет ничего дурного, тем более что речь идет о Твардовском, Исаковском, Сергее Орлове и ряде других достойных поэтов.

Беда, однако, в том, что «подсчет очков» в этом состязании ведется весьма пристрастно.

В начале 50-х годов один ныне здравствующий литературовед в ответ на чье-то замечание, что он как-то свысока пишет о Маяковском, пресерьезно ответил: «Да, я смотрю на Маяковского с высоты, данной мне аспирантурой!»

И когда С. Куняев ведет речь о тех, кого поначалу вежливо именует «отрядом высокоодаренной поэтической молодежи», в частности о воспитанниках московского Института истории философии и литературы — «ифлийцах»: Павле Когане, Михаиле Кульчицком, Давиде Самойлове и их ровеснике Борисе Слуцком, он начинает снисходительно поучать их «с высоты», данной если не аспирантурой, то всем прошедшим с той поры временем.

Человек, который и год Победы-то встретил пятиклассником, как о том упоминается в статье, он то ли делает вид, то ли в самом деле не знает, что многое в те далекие предвоенные годы выглядело совсем не так, каким предстает теперь нашим глазам на расстоянии.

Легко сегодня грустно улыбнуться над написанным в 1940 году:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.

Или, как это делает С. Куняев по поводу стихов того же Павла Когана о «земшарной республике Советов», умудренно заметить, что «надо было быть очень большим романтиком, чтобы ставить себе столь фантастические цели, не имеющие ничего общего с ходом реальной истории».

Автор статьи пишет, что поэты, которым предстояло писать о Великой Отечественной, сформировались «в разных условиях, *в разной социальной среде, по-разному удаленной от народного понимания войны или по-разному приближенной к нему*».

Подчеркнутые мной слова очень важны для понимания дальнейших «перекосов» куняевской статьи. Попросту говоря, народное понимание войны оказывается присуще лишь жителям деревни, а те, кто, скажем, имел несчастье обладать московской пропиской, например, герои Булата Окуджавы — в лучшем случае! — «равно далеки от глобальных мечтаний книжных романтиков (о «земшарной республике Советов».— А. Т.) и от живой народной стихии, они уходят на войну, как молодые симпатичные солдаты всех времен и народов...»

Замечу, что по молодости лет С. Куняев не помнит, что подобные упреки в былые времена раздавались и по адресу... Василия Теркина, неотличимого, дескать, от солдат старой армии.

Уход на войну героев Окуджавы в отличие от героя действительно отличного стихотворения Федора Сухова, оказывается, вовсе не драма, а лишь «тревожное, эстетически впечатляющее действо, симпатичный маскарад (!!)..., арбатская хемингуэевщина...»

Это «До свидания, мальчики, мальчики... Постарайтесь вернуться назад!» — хемингуэевщина? Да побойтесь бога, как говаривали встарь!

Вполне реально существовавшее среди самых различных «слоев» молодежи предвоенных лет настроение романтического порыва навстречу военной грозе, в частности стремление прийти на помощь республиканской Испании, изнемогавшей в неравной битве с международным фашизмом, так далеко и чуждо для «мальчика иных веков», что он почти пренебрежительно пишет о Константине Симонове как о «по-прежнему изображавшем до войны сражения под Уэской».

А ведь в симоновском стихотворении «Генерал», герой которого «в бою под Уэской сражен», трудно не ощутить восторженного преклоне-

ния перед человеком, который, тоскуя о родной земле, сражается за свободу «чужой». И рядом с ним в это время были многие наши с Куняевым соотечественники. для которых эти сражения оказались прологом к битвам Великой Отечественной!

Да, история пошла другими путями, нежели тогда думали не одни лишь юные «книжные» романтики, но попрекать последних этим, да еще рисовать их чуть ли не любителями кровавых боев, право же, не годится!

Если ифлиец Арон Копштейн, погибший еще на «войне незнаменитой» 1939—1940 годов, и писал:

...если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой,—

так это не в угоду «романтически-книжной теории, которую исповедовало ифлийское братство», как утверждает С. Куняев, а потому что тогда всем было ясно: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой...»

Разумеется, война совсем по-иному открыла ряду поэтов многое в жизни собственной страны, столкнув их с прежде не знакомыми им сторонами действительности. Позволю себе повторить написанное мной несколько лет назад:

«Горожанка Юлия Друнина, по собственному выражению, «в семнадцать лет, кочуя по окопам... увидала родину свою». Это ощущение было присуще тогда многим (достаточно сослаться на известное и, в сущности, такое наивное признание Константина Симонова: «Ты знаешь, наверное, все-таки родина — не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил»).»

«Поразительное признание сложившегося и уже популярного до войны поэта о том, что родину и народную русскую жизнь он понял и узнал только благодаря войне!» — с явным ехидством замечает по тому же адресу С. Куняев. При этом он исподтишка «выпрямляет» и огрубляет сказанное этими широко известными стихами, потому что истолковывать их в том смысле, будто «дом городской» — это уже не совсем родина или даже совсем не она, можно лишь «презренной прозой говоря», точно так же, как на основании песни «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество...» утверждать, что для Окуджавы война не расширила понятие родины: «Он остался как бы в рамках своего Арбата, верен его замкнутому братству...»

Прочти такое С. Куняев у какого-нибудь бедолаги-критика, уж то-то бы поиздевался — и вполне справедливо! — над буквализмом, над этой глухотой к поэтическому слову (даже, если хотите, кощунственной, ибо сколькие из этого «замкнутого братства» полегли за свою боль-

шую и «малую родину», как с уловимой иронией отзывается автор статьи о старой московской улице, у которой, однако, есть такие же права на это звание, как и у любой деревни).

Но сам-то, захваченный предвзятой идеей, не останавливается перед явными натяжками.

Борис Слуцкий вспоминает себя, молодого, в 1941 году:

Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный, и последний,
И предсказанный песней бой.

А С. Куняев досадует на то, что «предчувствие войны-революции наполняло их («ифлийские». — А. Т.) души не естественным для человека ужасом, а своеобразным восторгом», и снова нимало не задумывается: что́ если это не только «ифлийское» свойство, а одна из черт тогдашнего поколения, поколения Николая Гастелло и Зои Космодемьянской?

Ужасная вина! Они наивно полагали, что вот-вот «с «Интернационалом» воспрянет род людской» и, может быть, даже немецкие солдаты вспомнят, что они — вчерашние труженики, и прозреют,— но пали на первых, труднейших верстах пути к победе, порой с этим привычным гимном на устах, порой же с именем вождя, которое тогда опять-таки не одним только им казалось синонимом социализма, а порой просто захлебнувшись кровью («Говорила: погибну с песней! — но пуля разбила рот»,— сказано в стихах одного тогдашнего поэта о ровеснице-партизанке).

Что же касается поэтов-ифлийцев, то о них, «за них» в свое время с грубоватой горькой прямотой сказал Борис Слуцкий в стихотворении «Голос друга»:

...назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

Эти лейтенанты, многим из которых в поэзии не суждено было дослужиться даже до «звездочек», были постарше Пети Ростова, но во многом так же восторженны и простодушны. Герой Толстого ведь тоже нисколько не испытывал «естественного ужаса» перед войной, а наивно рвался в самое пекло и, наверное, легко подписался бы под горячими строчками Михаила Кульчицкого:

Не до ордена, была бы Родина
С ежедневными Бородино.

Подписался бы потому, что увидел бы в них романтическую мечту о победоносности Отчизны, а о цене, какой за это заплачено, еще бы сгоряча не задумался, не успел бы, торопясь сделать свой собственный «взнос», как и сам погибший автор этого опрометчивого пожелания.

И вот ныне мы наблюдаем диковинную картину: коллега, так сказать, младший брат поэта-лейтенанта, вместо того, чтобы пожалеть об этой несостоявшейся судьбе, менторски отчитывает его за легкомыслие, за то, что не учел, что «последствия таких событий (как человеческие потери в Бородинской битве.— А. Т.) долгие десятилетия тяжело влияют на судьбы народов», порождая «демографические, социальные язвы — следы прошедшей войны, о возможности которых не задумывались поэты-ифлийцы...»

Есть у Бориса Слуцкого стихи «Памяти товарища»:

Перед войной я написал подвал
Про книжицу поэта-ленинградца
И доказал, что, если разобраться,
Певец довольно скучно напевал.

Я сдал статью и позабыл об этом,
За новую статью был взяться рад.
Но через день бомбили Ленинград —
И автор книжки сделался поэтом.

Все то, что он в балладах обещал,
Чему в стихах своих трескучих клялся,
Он выполнил — боролся, и сражался,
И смертью храбрых, как предвидел, пал.

Как хорошо, что был редактор зол
И мой подвал крестами переметил
И что товарищ,
павший,
перед смертью
Его,
скрипя зубами,
не прочел.

Как видим, в наше время порой разыгрываются сюжеты совсем иного рода, и павшим очень и очень достается.

И весьма характерно, что, заканчивая свою статью, С. Куняев цитирует трагические стихи Алексея Прасолова о разгружаемом санитарном эшелоне. Столкновение прежних романтических представлений о войне с тягостной явью исторгает у поэта крик боли, страдальческий возглас: «Забудь про Светлова с Багрицким...»,— и автор статьи торопится «оформить» эту бурную эмоциональную вспышку как форменное обвинительное заключение:

«Забудь про Светлова с Багрицким»— это означало, что поэт другого поколения бесстрашно и точно сформулировал суть (!) нового мышления, нового гуманизма...»

Не знаю, поблагодарил ли бы сам Прасолов за подобную трактовку!

И вот что печально: ведь за «образец чести» молодые могут принять не одну эту, как характеризует выступления С. Куняева Л. Баранова-Гонченко, «всегда горячую, страстную речь в защиту русской поэзии», но и суждения некоторых других литераторов.

У талантливого поэта Юрия Кузнецова даже своего рода «хобби» появилось — раз за разом «сбрасывать с парохода современности» и предтеч и просто старших коллег, так что, когда газета «Книжное обозрение» напечатала (2 октября 1987 года) его выступление в рубрике «Автограф дает...», читатель увидел уже знакомый почерк.

Вспоминая, как после его высказываний насчет симоновского «Жди меня» (в журнале «Литературная учеба») Марк Соболь в сердцах выразил сомнение, да впрямь ли это писал сын погибшего солдата, Юрий Кузнецов замечает: «Это уж чересчур».

Но, право, точно такое же восклицание рвется с уст, когда знакомишься с его категорическими «резолюциями», например, о военном поколении, которое, по его убеждению, «приписало себе вечную славу своих сверстников, погибших на войне»: «Но, по свидетельству фронтовиков, на войне погибли в основном лучшие».

«Логика» ясная и, да простит уж меня автор, «чересчур» огульная, а потому оскорбительная по отношению к «уцелевшим», будь они «простые» участники войны или даже поэты.

Не собираюсь спорить с Юрием Кузнецовым, когда он, пусть не без привычного для него вызывающего эпатажа, заявляет, что «99% публикуемых сегодня стихотворений не является поэзией». Как он сам говорит, «у нас всегда были одни крайности», и его собственный «подсчет» — тоже крайность, обратная обычному критическому благодушию и, пожалуй, способная только стимулировать к более пристальному анализу положения дел.

Но вот когда речь заходит о некоторых конкретных явлениях...

Вспоминая слова Сергея Наровчатова, в чьем семинаре состоял, что «о поэте может хорошо написать только поэт», Ю. Кузнецов замечает: «Я согласен с этим».

Смирим же цеховую гордыню, поучимся:

«...мне не нравится в Ахматовой ее гигантомания,— заявляет поэт.— Вот сейчас много говорят о ее поэме «Реквием». Однако почему-то никто не заметил, что Ахматова этой поэмой ставит памятник себе. Есть в «Реквиеме» эпизоды, которые надо было писать только в третьем лице, о матери, но никак не о себе. А так получилась самовлюбленность. Это начисто убило «Реквием», превратило поэму в монумент автору. Все это, полагаю, оттого, что Ахматова по женской слабости слишком поверила своим обожателям. И посчитала себя великой поэтессой».

Что касается «гигантомании», то говорить здесь о ней может только тот, кто пусть даже ненадолго, но (выражаясь стихами самого Кузнецова) «позабыл родной язык» и перепутал гигантоманию с манией величия.

Но еще того удивительнее углядеть эту манию в «Реквиеме», свести все его содержание к желанию соорудить «монумент» себе самой, а отнюдь, оказывается, не всем тем, кого поэтессе «хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать»!

И все это, видимо, лишь потому, что в поэме есть «первое лицо» — «я»! Так и просятся на язык известные слова из «Василия Теркина», обращенные, правда, не к поэту, пишущему о поэте, а к простодушному читателю, способному сказать: «Где же про героя? Это больше про себя»:

Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек.
Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?
...Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.

«Спорить здесь нужды не вижу»,— писал Твардовский, и нынче тоже как-то неловко оспаривать оценки Ю. Кузнецова ни в данном конкретном случае, ни когда он торжественно декретирует, что вообще «женщины не могут в искусстве создать ни одного великого произведения».

Речь-то об этом выступлении, как и о статье С. Куняева, зашла потому, повторяю, что было бы явно несправедливо «журить» одних лишь молодых как за их выпады против «ложных ценностей», так и за суждения более общего свойства, когда трудно идущему процессу перестройки буквально каждое лыко ставится в строку, любой огрех непомерно

раздувается, а уж прорвавшийся сквозь многолетние запруды запретов бурный поток взволнованных мыслей и горячих эмоций и вовсе изображается чудовищным вселенским потопом, грозящим чуть ли не самому существованию отечественной культуры.

С горечью и недоумением думаешь, что это говорится и пишется не после публичного поношения Ахматовой и Зощенко, не над гробом Платонова или Василия Гроссмана, не в дни вынужденного ухода Твардовского из «Нового мира», а сейчас, когда при всех сложностях переживаемой поры над страной — и, смею думать, над искусством в частности — поистине весенний ветер веет.

Вспоминается, как в бурные дни Октябрьской революции Андрей Белый горячо корил тех, кто ее не принял:

«Родись среди нас богатырь... мы, пожалуй, дадим ему имя: «Зверушка»... Бабы старые, Бабарихи — все мы...»

А Александр Блок, которого, кажется, до сих пор никто не посмел отнести к «ложным ценностям», призывал:

«Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух»... слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Может быть, все же именно такие поступки, такая позиция должна и сегодня служить образцом чести?

1987

СОДЕРЖАНИЕ

ТУРКОВ Андрей Михайлович

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

Статьи

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 26.07.89. Подписано к печати 14.08.89. А 08902. Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 2,95. Тираж 150000 экз. Заказ № 805. Цена 10 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.